

Ганс Христиан Андерсен

Тетушка

Знали бы вы тетушку — прелесть что такое! То есть прелесть не в обыкновенном смысле слова, не красавица, а милая, славная и по-своему презабавная. Вот над кем можно было подшутить, посмеяться! Хоть сейчас сажай ее в комедию! И все это потому только, что она жила лишь театром и всем, что к нему относится. Вообще же тетушка была особа почтенная, даром что агент Болман, или «болван», как звала его тетушка, величал ее «театральной маньячкой».

— Театр — моя школа, — говаривала она, — источник моих познаний. Благодаря театру я освежила свое знание священной истории: «Моисей, Иосиф и его братья» — это все ведь оперы! Благодаря театру я познакомилась и со всемирной историей, и с географией, и с психологией! Из французских пьес я узнала парижскую жизнь; легкомысленна она, но в высшей степени интересна! Как я плакала над «Семейством Рикебур»! Подумать только — герой допивается до смерти, чтобы героиня могла выйти замуж за любимого человека! Да, много слез я пролила за те пятьдесят лет, что абонируюсь!

Тетушка знала каждую пьесу, каждую кулису, каждого актера, который выступал на сцене теперь или прежде. Она жила, собственно говоря, только девять месяцев в году; летние три месяца, театральные каникулы прямо-таки старили ее, тогда как один вечер в театре, затягивавшийся за полночь, просто молодил. Она не говорила, как другие люди: «Вот скоро придет весна!», «Аист прилетел!», «В газетах уже пишут, что появилась свежая земляника!» Она, напротив, приветствовала осень: «Видели, абонемент уже открыт?.. Скоро начнутся представления!» Достоинство и удобство квартиры она измеряла близостью ее к театру. Как горько было ей оставить маленький переулок, проходивший позади театра, и переехать на большую улицу немного подальше, да вдобавок поселиться в доме без визави.

— Я и дома хочу иметь свою ложу-окошко! Нельзя же все с самою собою рассуждать, надо и на людей поглядеть! А вот теперь мне приходится жить, точно в деревне, в захолустье! Если мне вздумается посмотреть на людей, приходится взлезать на кухонный стол — только оттуда я и вижу соседей. То ли дело было в переулке! Там из моего окошка открывался вид прямо в квартиру торговца льном, да и до театра было всего три шага, а теперь целых три тысячи и каких еще — гвардейских!

Случалось тетушке и захворать, но как бы плохо она себя ни чувствовала, пропустить представление все-таки не могла. Раз доктор предписал ей поставить себе вечером к ногам кислое тесто. Она поставила, но в театр все-таки поехала и высидела все представление с тестом на ногах. Умри она в этот вечер, она была бы даже довольна. Ведь умер же в театре Торвальдсен, и такую смерть она называла блаженной.

Тетушка и рая не могла себе представить без театра. Конечно, нам этого не обещано, но ведь довольно же правдоподобно, что для прекрасных актеров и актрис, которые отправились туда до нас, найдется и там арена деятельности!

В комнатку тетушки была проведена из театра своего рода электрическая проволока; телеграмма являлась каждое воскресенье к кофе. Проволокой служил господин Сивертсен, театральный машинист, подававший сигналы к поднятию занавеса, перемене декораций и проч.

От него-то тетушка и получала краткие, но вразумительные сведения о репертуаре. «Бурю» Шекспира он звал «чертовщиной»: столько хлопот с ней! В первом же действии — «море вплоть до первой кулисы!» Это он хотел объяснить, как далеко должны были заходить волны морские. Если же сцена во всех пяти действиях изображала все одну и ту же комнату, он называл такую пьесу разумной, толково написанной, на которой можно отдохнуть. Она, дескать, играет сама собой, без всяких фокусов.

В прежние времена — то есть лет тридцать тому назад — когда и сама тетушка и вышепоименованный господин Сивертсен, уже и тогда служивший машинистом, были помоложе, он — по словам тетушки — был настоящим благодетелем для нее. В те времена в единственном большом городском театре существовал обычай допускать зрителей на особые места, находившиеся под потолком, по обеим сторонам сцены. Каждый машинист располагал там местом или двумя. И места эти зачастую бывали битком набиты самой избранной публикой; говорили даже, что туда жаловали генералыши и коммерции советники. Ведь так интересно было заглянуть за кулисы, увидеть, как держат себя герои сцены после того, как занавес опустится!

Тетушка частенько бывала там, когда шли трагедии и балеты; в этих пьесах участвовала наибольшая часть труппы, и на них-то особенно интересно было смотреть сверху. Зрители сидели там в потемках, но очень удобно; почти все запасались закуской на ужин, и однажды в темницу Уголино, где он должен был умереть с голода, упала колбаса и три яблока! В публике, конечно, надорвали животики со смеху. Вот эта-то колбаса и была одною из главнейших причин, по которым дирекция закрыла для зрителей места наверху.

— Но я все-таки успела побывать там тридцать семь раз! — говорила тетушка. — И никогда я не забуду этого господину Сивертсену!

В последний вечер, когда места под потолком еще были открыты для публики, давался «Суд Соломона», тетушка отлично помнила это. В этот раз она, благодаря любезности господина Сивертсена, достала входной билет для агента Болмана, хоть он и не заслуживал этого за свое зубоскальство и вечные насмешки над театром. Но ему очень хотелось видеть «театральную канитель с изнанки». Он именно так и выразился, и это было куда как похоже на него, говорила тетушка.

И вот он увидел «Суд Соломона» сверху, да и заснул там. Право, точно он пришел в театр с большого обеда, за которым было провозглашено пропасть тостов! Итак, он заснул, проспал конец представления, и его заперли в темном, пустом театре.

— Когда я проснулся, — рассказывал он потом (тетушка, впрочем, не верила ни единому его слову) — «Суд Соломона» был кончен, все лампы и свечи потушены, весь народ разошелся, но тогда-то и началось настоящее представление — эпилог. И это было всего интереснее! Все ожило, пошел уже не «Суд Соломона», а «Страшный суд в театре».

И подобной ерундой агент Болман думал морочить тетушку — в благодарность за то, что она устроила его под потолком!

Все, что рассказывал агент, могло со стороны показаться довольно забавным, но в сущности-то за всем этим скрывалась одна злая насмешка.

— Темно там было, наверху! — рассказывал он. — Но вот началось волшебное представление «Страшный суд в театре». У дверей стояли контролеры и требовали у каждого из зрителей аттестат, чтобы удостовериться, имеет ли он право входить в театр не связанный по рукам и без намордника. Господа, являющиеся в театр слишком поздно, — трудно ведь сообразоваться с временем! — привязывались у входа и подковывались войлочными подошвами, чтобы могли без шума войти в театр в начале следующего действия. Кроме того, на них надевались намордники. Затем начался «Страшный суд».

— Все только ехидничанье и злость, неугодные Господу Богу! — ворчала тетушка.

Агент же продолжал:

— Декоратор, желавший попасть на небо, должен был взбираться на него по им самим нарисованной лестнице, а лестница-то эта являлась сплошным отрицанием всяких законов перспективы! Заведующий же монтажной частью, прежде чем попасть на небо, должен был перенести в подходящие места все здания и растения, водворенные им в несоответствующие

страны, — и все это раньше, чем пропоет петух!

— Господину Болману следовало бы лучше заботиться о том, как бы самому-то попасть на небо! Вообще все, что он рассказывал об актерах — и комических, и драматических, о певцах и балетных танцорах, было, по словам тетушки, со стороны Болмана (болвана!) черной неблагодарностью! Он не заслуживал счастья попасть наверх. Тетушка не желала даже повторять его сквернословия. А он уверял, что все это записано и попадет в печать после его смерти — не раньше! Не то тетушка, пожалуй, загрызет его!

Только один раз довелось тетушке набраться страха в своем храме блаженства — театре. Дело было зимой, в один из коротких «двухчасовых» серых дней. На дворе стоял холод, шел снег, но тетушке непременно надо было попасть в театр. Давали «Германа фон Унна», небольшую оперу и большой балет, да еще пролог и эпилог вдобавок. Спектакль должен был затянуться до поздней ночи. Как же пропустить такое представление? К тому же квартирант тетушки снабдил ее парой высоких меховых сапог, заходивших ей за колена.

Тетушка явилась в театр, уселась в ложу, но сапог не сняла, хоть ей и жарко было в них. Вдруг закричали: «Пожар». Из-за одной кулисы и под потолком показался дым. Поднялся переполох. Тетушка осталась последней в своей ложе — второго яруса с левой стороны; оттуда декорации смотрятся красивее, говорила тетушка, их ведь ставят так, чтобы они выглядели лучше из королевской ложи! Наконец, и тетушка добралась до двери, но оказалось, что зрители, выскочившие раньше, заперли ее за собой впопыхах. Тетушка очутилась в западне. Прямо в коридор выйти было нельзя, через соседнюю ложу тоже — перегородка была слишком высока. Тетушка закричала, никто не услышал. Она заглянула вниз, в следующий ярус, там тоже было пусто, но до него было близко, просто рукой подать. Тетушка от страха вдруг помолодела, почувствовала себя такой легонькой, проворной и совсем уж собралась было перелезть через барьер вниз, даже перекинула через него одну ногу, а другую поставила на скамейку. Так она и сидела, словно верхом на лошади, такая нарядная, в платье с цветочками, свесив вниз ногу в необъятном меховом сапожище! То-то была картина! Когда на нее обратили внимание, услышали и крики тетушки, и она была спасена от опасности сгореть — со стыда, так как театр и не думал гореть.

По ее словам, это был самый памятный вечер в ее жизни. И хорошо, что она тогда не могла видеть самое себя, — она бы умерла со стыда.

Благотель ее, машинист Сивертсен, приходил к ней каждое воскресенье, но от воскресенья до воскресенья долго было ждать, и вот тетушка стала в последнее время приглашать к себе по средам «кормиться» (т. е. пользоваться остатками от стола) маленькую девочку. Девочка участвовала в балетах и тоже нуждалась в пище. Выступала она в ролях эльфов и пажей; труднейшей же ролью ее была роль «задних лап льва» в «Волшебной флейте». Потом она доросла и до передних лап, но за них ей платили уже только три марки разовых, тогда как задние лапы оплачивались целым риксдалером (Риксдалер равнялся шести маркам. — Примеч. перев.). Зато, исполняя их, ей приходилось сгибаться в три погибели и задыхаться! Все это тетушку живо интересовало.

Она заслуживала прожить до самого закрытия старого театра, но нет, не выдержала! Не пришлось ей и умереть там! Умерла она чинно и благородно в собственной постели. Последние слова ее были, впрочем, довольно-таки характерны. Она спросила: «А что идет завтра?»

После тетушки осталось что-то около пятисот риксдалеров. Так мы заключаем из процентов на капитал, составлявших двадцать риксдалеров. Их завещала тетушка в виде пожизненной пенсии достойной, старой безродной девице с тем, чтобы она абонировалась на одно место в ложе второго яруса с левой стороны, и непременно на субботние представления — тогда даются лучшие пьесы. На пенсионерку налагалось лишь одно обязательство — поминать по субботам в театре покойную

тетушку.

Так вот чему поклонялась и служила тетушка всю свою жизнь!